

УДК 821.521.033:244

ВЛИЯНИЕ БУДДИЗМА НА ДНЕВНИКОВУЮ ПРОЗУ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ

М.В. Шабаева

Томский политехнический университет E-mail: nimrodbest@inbox.ru

Рассмотрены особенности дневниковой прозы средневековой Японии, в частности выявлено влияние буддизма и общее отношение некоторых авторов к нему. Дневниковая проза как нельзя лучше пронизана религиозными принципами синтоизма и буддизма и тем самым может стать основой для изучения духовной жизни японцев. Путем исследования были выявлены основные художественные особенности дневниковой прозы как жанра,

среди них недосказанность, любовь к прекрасному и естественному, что тождественно в понимании японцев, а также пронизанность повествования темой непостоянства мира.

Ключевые слова:

Дневниковая проза средневековой Японии, буддизм, недосказанность, «моно-но аварэ», непостоянство.

Буддизм, завезенный из Китая в VI в., за последующее тысячелетие буквально пронизал интеллектуальную, художественную и общественную жизнь Японии. Это помогло преобразовать страну из пространства, населенного примитивными племенами, в государство высокой цивилизации, что оказало глубокое и длительное воздействие на духовные и этические ценности японцев. Американский исследователь Клайборн отмечает, что «проникновение в японскую психику (душу) установок и ценностей буддизма было столь мощным, что оно заметно и сейчас в каждом аспекте жизни современной Японии» [1. С. 62].

Безусловно, наибольшее влияние на японскую культуру оказал дзэн-буддизм. Монахи секты Дзэн не ограничивались только религиозной деятельностью. Они преуспели в дипломатии, в различных видах творчества: литературе, живописи, архитектуре, планировке садов, искусстве театра Ho, в чайной церемонии и аранжировке цветов. Учение Дзэн и проповедующие его странствующие монахи сыграли огромную роль в становлении большинства направлений искусства и литературы средневековой Японии, наполняя их своим духом, делающим упор на подсознательное, интуитивное ощущение истины и непосредственное ее восприятие учеником от наставника.

К концу X в. синтез буддизма и синто, древнейшего японского верования в населённость мира богами-духами (ками), окончательно завершился. Слияние двух духовных традиций протекало достаточно безболезненно в связи с тем, что распространение буддизма ничуть не наносило ущерба авторитету синтоистских святилищ. Мирному сосуществованию двух религий способствовало появление в X в. отшельников-аскетов среди последователей таких буддистских школ, как Тэндай и Сингон. Священные горы, широко почитаемые в синто, стали посещать и буддийские паломники. Более того, японские верования переплетались с элементами китайских гадательных систем (учение Оммёдо, путь Инь и Ян), сводивших все явления и предметы к сочетаниям пяти стихий (огонь, вода, земля, воздух и металл) и двух начал (тёмного и светлого). Уже в кодексе «Тайхорё» роль всех этих трёх учений признаётся.

Комбинация буддизма (идея сострадания ко всему живому, идея кармы, т. е. воздаяния за деяния в этой и прошлой жизни и т. д.), синтоизма (пантеизм, аграрная магия и культ природных сил) и отчасти конфуцианства (система правил поведения, источник позитивных знаний) составляет идеологическую основу хэйанской культуры. Представление о человеке как о части природы и самый культ природы отражают контакт буддистских и синтоистских воззрений; от буддизма идет элегическое восприятие природы и человека. И буддизм, и синтоизм

поддерживают в хэйанской культуре циклическую концепцию времени, образом которой является смена времен года, ассоциирующаяся с вечной сменой поколений, этапов в человеческой жизни и судьбе. Такая циклическая модель встречается гораздо реже в европейской средневековой литературе с ее пафосом личного утверждения рыцарских и христианских идеалов, что и определило свойственное ей линейное восприятие движения времени.

Ф. Мараини в своем книге «Япония: черты преемственности» пишет: «Благодаря своеобразному соседству синтоизма, буддизма и конфуцианства, когда ни одно из мировоззрений не превалировало над другим, не исключало их абсолютно и окончательно, в сознании японцев глубоко укоренилась идея терпимости. Каждая система верований или взглядов рассматривалась как путь — путь к вершинам мудрости, духовного совершенствования, внутреннего озарения. Человек был вправе испробовать любой из таких путей. В отличие от Запада Япония почти не знала преследования еретиков, подавления каких-то плодотворных идей из-за того, что они противоречили неким священным книгам или их последующему толкованию» [2. С. 42].

На стыке синтоистского приятия жизни, жизнеутверждающего культа природы и буддийского меланхолического взгляда на неизбежное коловращение в мире создалась и основная эстетическая концепция хэйанской литературы, выраженная знаменитой формулой «моно-ноаварэ» («очарование вещей»). «Аварэ» есть одновременно и «чарующий», «исключительный», и «печальный», «жалкий», т. е. достойный сожаления, сострадания.

Указанная формула предполагает известное сопричастие, связь между субъектом и объектом. Неизбежность кратковременности этой связи и изменчивости как объекта, так и субъекта — одна из причин меланхолии, свойственной японской литературе эпохи Хэйан; утонченный культ прекрасного неотделим от чувства его преходящей и временной природы, неизбежной гибели в общем круговороте вещей и существ. В хэйанскую эпоху, особенно в конце X — начале XI вв., когда культура достигла вершины, чувствительность (в смысле утонченной воспричимивости очарования вещей и людей) стала важнейшей чертой японской эстетики. Подобная чувствительность чужда европейской куртуазной литературе так же, как японской не известны идеалы рыцарства.

Одно из заметных последствий влияния буддизма на дневниковые произведения средних веков прослеживается в том, что авторы зачастую оставляют свободное пространство для размышлений, пространство, которое каждый заполнит сам своим воображением. Ведь как учит буддизм — изменчивость мира несопоставима с идеей завершенности. В процессе самосовершенствования не бывает точки, вершины. Нельзя достигнуть совершенства, поэтому больше всего способно поведать о красоте то произведение, в котором не все доведено до конца.

Очень часто можно наблюдать этот принцип в действии, читая средневековые дневники. К примеру, в «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон есть разделы с такими названиями, как «Горы», «Рынки», «Горные пики», «Пучины», «Моря», «Переправы» и т. д., где не столько дается их описание, сколько простым перечисление некоторых горных пиков или морей автор заставляет читателя невольно перенестись туда и прочувствовать их красоту, тем самым заполнив свободное пространство своими собственными умозаключениями.

Кроме того, одна из главных отличительных черт эпохи Хэйан, привитая буддизмом и оставившая свой след на литературной традиции Японии, – любовь к изящному, любовь к красоте. С точки зрения хэйанцев, «некрасивое недопустимо». Во времена Сэй Сёнагон и Мурасаки Сикибу этот дух красоты воплощался в моно-но аварэ. Но мы уже знаем, что моно не вещь, а аварэ – не то, что мы называем «очарованием». Ведь если просто сказать «очарование вещей», то в лучшем случае представим себе, что в каждой вещи есть своя прелесть, скрытая красота, которую художник дает почувствовать. Но и это чувство очарованности невозможно понять, не принимая во внимание способность ощущать мэдзурасий – неповторимость, уникальность каждого мига, того, что неожиданно потрясает, приводит сердце в трепет. Разница заключается в том, что акцент переносится с «вещи» (моно) на человека, на душевное состояние, которое не так ощущали поэты «Манъёсю» и «Кокинсю», не столько сострадающие, сколько наслаждающиеся красотой.

По мнению известного публициста В. Овчинникова, мерами красоты у японцев служат четыре понятия, три из которых (саби, ваби, сибуй) уходят корнями в древнюю религию синто, а четвертое (югэн) навеяно буддистской философией.

«Саби» – понятие, уравнивающее красоту и естественность. Все, что неестественно, не может быть красивым. «Ваби» – очарование, прелесть всего обыденного, простого, «мудрая воздержанность», «красота простоты». «Сибуй» – это «первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. Это красота естественности плюс красота простоты».

Принцип «югэн», привнесенный буддизмом, подразумевает вслушивание в несказанное, любование невидимым [3. С. 51–53].

В отличие от Запада, где меркантильность и практичность ума заставляла воспринимать окружающую действительность как должное, как нечто, чем необходимо воспользоваться и установить свое господство и где буддизм никогда не играл такой важной роли в обыденной жизни, повествование в дневниках средневекового периода японской литературы отражает особое отношение японцев к миру – теплоту, нежность, печальное очарование, а иногда и обреченность, которые стали неотъемлемой частью не только повседневной жизни, но и произведений искусства и литературы.

В высочайшую чувствительность японцев к окружающему миру, сформированную религиозными принципами синто, буддизм внес свою излюбленную тему о непостоянстве этого мира.

К примеру, в своих «Записках от скуки» Кэнко-хоси выражает свое отношение к изменчивому миру следующих образом: «Если бы человеческая жизнь была вечной и не исчезала бы в один прекрасный день, подобно росе на равнине Ада-си, и не рассеивалась бы, как дым над горой Торибэ, не было бы в ней столько скрытого очарования. В мире замечательно именно непостоянство» [4. С. 109]. Мурасаки Сикибу пишет: «Беды этого мира — лишь недолговечная роса, и не должно душе заботиться ими, и не стоит жалеть сил, дабы прилепиться к праведности» [5. С. 390], тем самым выражая самую суть буддистских идей. Далее автор пишет, что «сердце изменяется так быстро — не уследишь» [5. С. 402].

Еще одна особенность повествования дневникового жанра, явно отражающая концепцию буддизма: красотой совершенствуется человек, но красотой не внешней, соблазняющей падкого до удовольствия человека, а красотой внутренней, которую воспримет лишь чуткая душа, способная к состраданию; красотой еле заметного — дрожанием лепестка, изгибом ветки, мерцанием бликов на воде или сдержанным волнением души.

Того, кто знает невидимые письмена, не оставляло ощущение, что какая-то неведомая сила свыше водит рукой. Отсюда и склонность к дневникам — никки, «запискам» — дзуйхицу, любовь к которым не охладела до сих пор. Истина доступна лишь открытому сердцу, чистому уму; эта вера вела за собой японских мастеров.

Идеи распространявшегося буддизма нашли свое отражение в произведениях дневниковой прозы. Авторы зачастую выказывали свое отношение к новой религии. Один из первых дневников — «Дневник эфемерной жизни» («Кагэро никки») охватывает промежуток с 954 до 974 гг. Правда, события, описанные в дневнике, не датируются, а упоминается один год — 972, на основании которого и были установлены все даты. Самая удивительная черта этого дневника — это необычайная женственность и откровенность описания несчастливой, по мнению автора, женской судьбы. Автор дневника — дочь правителя провинции Муцу, самой отдалённой, находящейся на Севере страны. Настоящее имя неизвестно, поэтому её называют дочерью Томоясу или матерью Митицуна, сына от высокородного вельможи Фудзивара Канэиэ. «Кагэро никки» повествует о тщетном ожидании Канэиэ, о разочаровании в его любви и решении навсегда расстаться с ним.

Интерес к женской дневниковой литературе в контексте религии пробуждает «Дневник Сарасина» («Сарасина никки»). Поражает полное отрицание окружающей реальности. Автор дневника – девушка, живущая в грёзах о появлении в её жизни Принца Гэндзи. Интересным представляется её очень субъективный взгляд на жизнь придворных и государя. Всё произведение проникнуто постоянным обращением к Будде, чтением сутр и совершением паломничеств в буддийские храмы.

Реальное, можно сказать, бытовое представление о монахах и буддийских службах, в которых они участвуют, можно увидеть, изучая светскую литературу средневековой Японии. Но отношение к буддизму по-разному освящается в женских дневниках того периода. Проблема религиозности, как пишет Горегляд, является «внешней для Идзуми Сикибу и Мурасаки

Сикибу и внутренней для дочери Сугавара Такасуэ, матери Митицуна, Сэй Сёнагон и для писателей XIII века... » [6. С. 183].

Уход в монашество был чрезвычайно распространён в аристократической среде японского средневековья. Это мог быть и принудительный постриг бывших императоров и членов их семей и слуг, и добровольное пострижение людей, ничем не принуждаемых к этому. Добровольный постриг, или как его называли тогда — «уход от мира», совершался по причине глубокого духовного кризиса, жизненных неудач или смерти близких людей.

Горегляд выделяет три типа отношения к буддийским церемониям в эпоху Хэйан: как к некоему развлечению, то есть равнодушно-созерцательное; как к средству достижения выгоды, материальных благ или продвижения по службе; как путь к спасению, сопровождаемый соблюдением всех религиозных предписаний [6. С. 205]. Само же совершение обрядов в храме нередко воспринималось как часть обычаев, принятых в среде придворных аристократов. Например, чиновники, вышедшие в отставку, посещали храмы, где они могли общаться со своими бывшими сослуживцами и вельможами и ощущать себя присутствующими на церемониях при дворе императора.

Одним из самых удивительных творений хэйанской литературы была «Повесть о Гэндзи», которая была написана придворной дамой Мурасаки Сикибу в 1001 г. Т.Л. Соколова-Делюсина в своём комментарии к «Повести о Гэндзи» пишет, что хэйанские женщины были удалены от участия в общественной жизни, почти никому не показывались, а с раннего детства девочку уже готовили к будущей брачной жизни. Но это не касалось женщин, служащих при дворе, ежедневно участвовавших в праздниках, обедах или публичных чтениях сутр [7. С. 491]. В дневниках можно найти множество описаний придворного быта, манер, одежды дам и министров. А мотив тоски в дневниках часто был столь же формализован, как и приёмы гостей.

Следующий дневник, в котором высказывается отношение к буддизму — «Дневник Мурасаки Сикибу». Дневник описывает время пребывания Мурасаки Сикибу при дворе всемогущего Фудзивары Митинага. Книга может считаться одним из лучших источников информации о повседневной жизни средневекового двора, придворных дам, обычаев и традиций. Но это не столько дневник, сколько воспоминания о том, что волновало его автора. Он охватывает период с 1008 по 1010 гг.

Чтение молитв напоминает лишь некий необходимый ритуал, часть регламентированной жизни во дворце, а священнослужители – просто придворные, занимающие определённую должность: «Священники исполнили обряды. Настоятель Ингэн прочёл молитву, составленную накануне Главным министром, добавив торжественные слова и от себя. Его поза была величественна, а слова внушали надежду. После того, как к его молитве присоединился Главный министр, мы все почти поверили, что роды теперь уж точно окончатся благополучно» [5. С. 399, 400].

Для Мурасаки участие буддийских монахов в жизни двора — это вполне обычная традиция, но она не придаёт этому никакого священного, сакрального значения. А за «работу» монахов, то есть за чтение сутр и выполнение обрядов в течение беременности и родов Сёси, Главный министр награждал монахов. Здесь не лишним будет упомянуть, что ещё в VII в. проявился государственный характер буддизма, когда под руководством правительства проводились публичные чтения сутр, а также их толкования в общегосударственном масштабе [8. С. 73] (это относилось к «Сутре золотого света» и «Сутре о человеколюбивом царе»).

Интерес к женской дневниковой литературе в контексте религии пробуждает и «Дневник Сарасина» («Сарасина никки») [9]. Поражает полное отрицание окружающей реальности. Автор дневника – девушка, живущая в грёзах о появлении в её жизни Принца Гэндзи. Автору статьи интересен её очень субъективный взгляд на жизнь придворных и государя. Всё произведение проникнуто постоянным обращением к Будде, чтением сутр и совершением паломничеств в буддийские храмы.

Что касается «Дневника Сарасина», то уже по первым его фразам можно прочувствовать настроение его героини: «Девочка, выросшая в тех дальних краях, где "кончается дорога на Восток", и даже ещё дальше – какой же, наверное, я была дикаркой! И как только сумела я проведать о существовании романов? Но вот ведь, проведала и стала мечтать только о том, чтобы эти книги увидеть!» [9. С. 7]. Литературный мир занимает девушку гораздо больше, не-

жели реальный, она живёт в мечтах встретить Принца Гэндзи. Переехав с семьёй в Киото в 1020 г., она большую часть времени занималась чтением, а свои мысли и мечтания она записывала.

Однажды во сне дочери Сугавары Такасуэ (другого имени девушки не сохранилось, а Сарасина — это название местности, которое в дневнике даже не упоминается) явился монах в жёлтом буддийском облачении, который сказал, чтобы та как можно скорей выучила наизусть священную «Сутру Лотоса». Но девушка не вняла совету монаха. Она писала: «В то время как я жила в стране своих грёз, иногда я посещала храмы, но даже и тогда я не могла молиться, как другие, с чистым сердцем. В те дни люди учили наизусть сутры и начинали соблюдать все религиозные обряды, начиная с семнадцати или восемнадцати лет, но я ещё даже не могла и помыслить о таких вещах. Единственное, о чём я могла думать, был Светлый принц... » [9. С. 23].

В 1040 г. она стала второй женой тридцативосьмилетнего чиновника из провинции, и у них родилось двое детей. Семейные хлопоты несколько отдалили дочь Такасуэ от романов и мечтаний, а после смерти мужа у неё появилась тяга к религии. Последний этап жизни, описанный в дневнике, можно назвать религиозно-мистическим.

О своей жизни писательница рассказала только в 1060 г., будучи уже автором четырёх повестей. Дневник писался частично по памяти, а частично по сохранившейся переписке. Возможно, что после окончания дневника дочь Такасуэ удалилась в тихую горную обитель и закончила жизнь в смиренных молитвах будде Амида, который явился ей на склоне лет. Этот настрой явно виден в последней части её дневника. Здесь можно проследить тогда ещё зарождающийся тип отношения к службам Будде – религиозная экзальтация и крайне истовая молитва ради спасения в будущем. Подобное настроение можно видеть и в «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон.

Дональд Кин в своём исследовании «Странники в веках», посвящённому дневниковому жанру в японской литературе, так пишет о еще одном произведении жанра никки «Непрошеной повести» (или «Признании госпожи Нидзё»): «Ни один дневник, написанный придворной дамой, не ошеломляет и не шокирует так, как "Признания госпожи Нидзё"» [10. С. 132]. И действительно, это творение поражает искренностью и простотой, с которой Нидзё описывает свою жизнь и японский двор XIII в. Здесь переплетены грех и невинность, интриги и религия, бытовое и священное.

Между 1285 и 1289 гг. Нидзё стала монахиней, а начало четвёртого свитка описывает то, как она отправляется в своё первое паломничество. Нидзё не объясняет читателю, почему приняла такое решение, но мысли о грехах перед Буддой приходили ей и раньше. Ещё отец, умирая, говорил Нидзё: «Если в будущем любовь государя остынет, если у тебя недостанет средств по-прежнему жить при дворе и нести придворную службу, без колебаний, не мешкая, от чистого сердца прими постриг! Став монахиней, ты спасёшься в будущем, потустороннем существовании и утешишь покойных родителей, сможешь молиться, чтобы всем нам встретиться в едином венчике лотоса в мире ином...» [11. С. 37]. Сама героиня не раз обращалась к подобной мысли. После смерти своего сына расстроенная Нидзё размышляла о том, что «лучше всего удалиться от мира, от любви и благодеяний государя и вступить на путь Будды...» [11. С. 62].

Нидзё осознавала неправедность своей жизни и, прежде всего, любви с настоятелем: «Нет-нет, мне стыдно Будды... Я боюсь его гнева... » [11. С. 87]. Но между тем, не нужно думать, что Нидзё раскаивается. Уход в монахини был закономерным финалом её жизни. Можно назвать это переходом в иной социальный статус. Она не видела в религии спасения и не искала просветления.

Нидзё всегда была страстной натурой. Поэтому даже уход в монахини, служение Будде и паломничество не изменили её саму. Он просто перешла из одного социального статуса в другой, что было в принципе типичным, ведь монашество было обычным финалом для многих женщин в эпоху Хэйан.

В.Н. Горегляд писал в своей книге «Дневники и эссе в японской литературе X–XIII веков» [6], что ни в какой литературе мира дневники не занимали такого видного места, как в литературе Японии, где они появились очень рано, сразу получили широкое распространение и ещё много веков были переплетены с духовной жизнью народа.

Итак, в ходе исследования были выявлены основные художественные особенности дневниковой прозы как жанра, особо сильно впитавшего в себя религиозные и духовные принципы буддизма.

Буддистская идея о невозможности достижения вершины в каком-либо деле, о несопоставимости изменчивости мира с идеей завершенности, нашла свое отражение в такой художественной особенности, как свободное пространство для размышлений читателя, недосказанность.

В качестве второй особенности был отмечен принцип повествования, основанный на понятии «моно-но аварэ», заключающий в себе любовь к красоте и изящному, любовь к внутренней еле заметной красоте, которая способствует совершенствованию человека.

И, наконец, третья повествовательная особенность – тема непостоянства и изменчивости этого мира.

Таким образом, можно сказать, что произведения дневниковой прозы дают основания говорить о том, что буддизм действительно повлиял на жизнь японского общества в средние века и оставил огромный отпечаток не только на культуре народа, но и на менталитете.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Claiborne G. Japanese and American rhetoric: A contrastive study. Florida: University of South Florida, 1993. 369 c.
- 2. Мараини Ф. Япония: черты преемственности. М.: Просвещение, 1971. 321 с.
- 3. Овчинников В. Сакура и дуб. М.: АСТ, 2011. 605 с.
- 4. Кэнко-хоси. Записки от скуки. М.: Наука, 1970. 256 с.
- 5. Японские средневековые дневники / под ред. В. Горегляда. СПб.: Северо-запад пресс, $2001.-624~\mathrm{c}.$
- 6. Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе X–XIII вв. М.: ГРВЛ, 1975. 379 с.
- 7. Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи / Приложение. Комментарии Т.Л. Соколовой-Делюсиной. – М.: Эксмо, 1992. – 526 с.
- 8. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.: Наука, 1988. 318 с.
- 9. Мацумуна Сэйити. Сарасина никки моногатари. Токио, 1965. 289 с.
- 10. Дональд Кин. Странники в веках. М.: Восточная литература РАН, 1996. 349 с.
- 11. Нидзё. Непрошеная повесть. М.: Наука, 1986. 272 с.

Поступила 16.05.2012 г.